

Но когда вода эта поит сухое зерно, которое не знает иной радости, кроме радости пить, в зерне пробуждается неведомая дотоле мощь и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады.

Но сбудусь я в своем народе, только если Ты, Господи, будешь замком свода, нашей общей мерой, смыслом и для друзей, и для врагов. Если Ты нас оставишь, Господи, то ячменное поле, и колодец Эль-Ксур – лишь груда камней. Стараясь узреть в них Тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх, к звёздам».

Эти слова звучат, как молитва. И в ней слышен голос самого Экзюпери – вечного рыцаря Духа.

ФРИДРИХ ВТОРОЙ

Никто не оказал на Экзюпери большего влияния, чем Ницше. В основе его – высочайшее чувство духовного аристократизма, которое присуще обоим гениям. Владение пером и умение властвовать собой – вот основа их внутренней отстранённости от main stream'a бытия рода человеческого, от его быта и каждодневных забот. Фридрих Великий обосновался на гордых и одиноких манфредовских вершинах, возведя туда своего Заратустру; Экзюпери даже и эти вершины оставил далеко внизу, освоив как место обитания новую для человека стихию: воздух.

Не всякий горец ощущает свою вознесённость над остальным человечеством; это же можно сказать и о лётчиках: пролетарий Мермоз и крестьянин Гийоме чувствовали своё кровное равенство с другими людьми и связью с ними гордились. Хотя Экзюпери постоянно расхваливает воинское и профессиональное братство – во

время Второй мировой эти понятия по необходимости слились – но, выходя на крупномасштабное видение мира, мгновенно занимает место у штурвала управления человеческими массами, не отдавая этот пост никому. Что не обсуждается и происходит естественным образом. Не вызывает это вопросов и у окружающих: знаки превосходства были написаны у него на лице. *Почетью высшего звания* называл такое качество человека Павел Флоренский. Экзюпери обладал им в высшей степени. Общение с плебсом угнетало эту внутреннюю высшую личность: «в горах моё сердце». А в это время личность низшая могла участвовать в дружеской попойке, развлекать окружающих карточными фокусами, острить и балагурить.

Такою сделалась позиция Заратустры, перешедшего от слов к делу.

Всё-таки вся писанина Ницше – некое профессорское фэнтези, пароксизмы агонизирующего романтизма; «бредни больного», которые выручает только талант исполнения. Кабинетность в происхождении текстов чувствуется издали и не маскируется.

Всё, что написал Экзюпери кроме «Цитадели», является хроникой деяний автора и иже с ним. Но и в «Книге Каида» в наиболее этнических страницах много живых воспоминаний берберского периода жизни Сент-Экса: от румы Антуана до властелина Империи духа – лишь один шаг. Поэтому «Цитадель» не просто «сборник парадоксов и афоризмов», каковыми являются все книги великого немца.

Никому не придёт в голову включить «Так говорил Заратустра» в библиографию книг о великом персидском пророке. Нет в ней и ничего персидского вообще.

Не то у Экзюпери: несмотря на постоянную игру масштабами и пропорциями (от скромных берберских реалий до метаэтнической Империи, не имеющей обозримых границ) в его итоговой книге восток сконцентрирован и сгущён не менее чем в Коране.

Пожалуй что именно Магомет был единственным соперником Сент-Экса в последние годы. Но “разделялся” он с великим арабом вместе с Ницше. Антуану не хватало для этого тевтонской свирепости учителя. «Зороастрийская контрреволюция» является вызовом не только христианству, но и магометанству. Она вся – прохождение сквозь застывшую корку канонов к огнедышащей лаве первосмыслов, первоинтуиций и первопроблем. Сталкиваясь в равных пропорциях милосердие и справедливость, строгость и послабление, доброта и жестокость, мягкость и категоричность высекают искры, которые становятся языками пламени, вызывающего дополнительный экстаз огнепоклонников-мистов. В качестве подрывников и ниспровергателей старых канонов и догм к ним присоединяются и те, с омертвелым наследием которых (не имеющим уже к инициаторам никакого отношения) они и борются.

Именно в качестве преподавателя Ницше позволял себе позицию провокатора, но о театральной безопасности его наскоков говорят стихи, которые он прилагал ко всем своим книгам: не принимайте, мол, карнавал за всамделишность.

Экзюпери ни на минуту не упускает из виду опыт Магомета: переводить даже самые дикие вдохновения в плоскость руководства к действию для миллионов. Но чтобы выдержать эту позицию до конца ему не хватало малокультурности и зашоренности простого погонщика верблюдов. Он был рассудителен и глубок, но – по жизни – недостаточно категоричен. Этим его *Книга жизни* отличается от визгливой наглости «Майн Кампф». Наследие арабского пророка, таким образом, расщепилось пополам: всё поэтическое, медитативное досталось Экзюпери, всё командно-императивное – бесноватому фюреру. Может быть поэтому фигура Магомета стала точкой столкновения конкурентов и плацдармом борьбы, причём Сент-Экс не пощадил и сам объект страсти.

То же произошло и с Ницше. Безграмотные главари «Третьего Рейха» приняли всерьёз и за чистую монету карнавальные передержки автора «Заратустры»: особенно – гигантские усы, в отращивании которых он всю жизнь соревновался с другим Фридрихом – подручным Маркса, и которые ряженные люмпены в лампасах приняли за ярко выраженный символ феноменальной воли к власти их владельца. Ярмарочные фотографии полубезумного с выпученными глазами и саблей, выставленной напоказ, были приняты последышами за образец имиджа и иконографический канон.

Так многие профаны почитают достоинство пива в его пене. Но болезненная тяга к бутафорной декоративности, зафиксированная безумием, которое вышибло из великого немца остатки чувства юмора и самоиронии, привела к «моде на позу» в первой половине XX столетия. Соревнование режимов выразилось в соревновании поз на фото вождей. Достаточно вспомнить карикатурные ужимки Муссолини или “соплевидные” усики Чарли Чаплина, которые были полны юмора и гротеска в отличие от аналогичных немецкого фюрера.

Но не перенял ли Экзюпери отсутствие чувства юмора позднего Ницше? Многие эпизоды «Маленького принца» показывают: нет. Возможно, что «Маленький принц» как раз тот фрагмент, который выпал из Фридриха Великого во время болезни. Значит Экзюпери даже последних лет жизни – Ницше в полноте молодости и душевного здоровья. За него и боролся Сент-Экс с идеологами фашизма, которые в силу амбициозности и верхоглядства приняли было его за одного из своих.

Как это ни покажется дико, но соотечественники часто обвиняли автора «Военного лётчика» в близости к фашистской идеологии. Расслабленным пьянчужкам с бульвара Капуцинов казалась бесчеловечной и жёсткой постоянная готовность рыцаря воздушной стихии.

Многие страницы «Цитадели» предоставили им возможность аргументировать свою позицию.

Но *художник* – совсем даже не “понарошку”, – *художник* – “например”. Яго и впрямь не убивают на сцене, только чтобы сэкономить актёра для следующего широковещательного показа *правды*. Ницше времени безумия это тот, кого жизнь больше не экономит для следующих великих свершений. Человек, утрачивающий самоиронию – обречён. В этом – пустота и дутость амбициозных индийских гуру.

Не эта ли общая болезнь заставляла тянуться всех фюреров на Восток, в заповедник оригиналов?

Слава Богу, что Экзюпери не пошёл так далеко, ограничившись *Ближним* Востоком. Ницше же вообще прогуливался в Востоке мнимом. Мнемоническом. – Виртуальном, как сказали бы сейчас. Но эта условность сразу вводит в условность театра. Поэтому и афористика сцены буффонна; она призвана только вызывать совибрационность внутренних клапанов правды. Именно этим художественные тексты отличаются от Евангелий. Как только выясняется – в последних строках пьесы – что «гений и злодейство – две вещи несовместные» действительно правда, действие мгновенно прекращается, ибо *предположение* истины становится истиной самой.

Афористика конца XIX – начала XX веков, в которой особенно преуспел Оскар Уайльд, носит сугубо вербальный характер. Праздник Вербного Воскресения уступил место празднеству Воскресения Вербального с гамлетовским «слова, слова, слова» в заголовке. Не красное ли словцо привело к красноте кровавого советского режима? – Связь, безусловно, есть.

Мрак, в который погружался Ницше второй половины жизни, стал мраком национал-социализма, в который постепенно погрузилась вся Европа.

Борьба с фашизмом Сент-Экса стала борьбой ученика с олицетворением болезни учителя. Борьба с безумием во вне и безумием внутри.

Не ницшеанские ли аллюзии заставляли Экзюпери постоянно подозревать в себе сифилис, от которого скончался его отец – жертва мопассановской неводержанности?